

УДК 070:800:82

ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ ВЗГЛЯДОВ ПУШКИНА НА ЗАДАЧИ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПОЛЕМИК

© 2009 Е.Ю. Третьякова

Краснодарский государственный университет культуры и искусств

Поступила в редакцию 22 декабря

Аннотация: Как глава просвещенных реформ русской печати 1820-х-1830-х гг. А.С. Пушкин не вводил какую-либо ранее неизвестную эстетику, а обобщил положительные моменты классицизма, сентиментализма и романтизма. Он подчинил полемики периодической печати единой модели, которая не наносит ущерб многовековой трансляции культурно-языкового опыта. Фундамент модели – эпическую природу мифа он дополнил гармонией книжных / некнижных компонентов инфор-мационного процесса. Возник алгоритм, который позволил полемике по эстетическим, критико-литературным, нравственно-этическим и иным вопросам не вредить размеренному многовековому ритму естественной жизни языка. В статье дано представление о прототипе и источнике такой модели («скрытый историзм» трудов Карамзина и средневековых православных летописей). Изложены моменты учебы Пушкина у «арзамасцев». Выделены три этапа эволюции его взглядов на допустимые формы печатной полемики: отказ от споров с М.Т. Каченовским (1818–начало 1820-х гг.), отказ от сугубо теоретических полемик (1825-1829 гг.), создание «амфитеатра» – платформы выражения народной оценки мира в «театре» журналистики (1830-1836 гг.).

Ключевые слова: Пушкинская реформа печати; моделирование дискурса полемики; эпический реализм; алгоритм гармонии.

Abstract: European model of the Enlightenment is founded on individualism, Russian model is founded on non-individualistic cultural-language experience. That's why the literary mugs of the Pushkin's epoch such as "Arzamas", "Society of lyubomudry" searched for "non-European" way to optimize the magazine contact. Their experience of cultural-language reflexion foundate Pushkin's imaginations about enlightened reform tasks of publicity.

There are definite two types of the conversion spoken/written speech: the type PRIMARY (own-language, normal for ethnic languages) and SECONDARY (produced by different systems of ideas and concepts) in the article. Systematical analysis of algorithm MENTAL (from lat. "mens" – "a spirit") and VITAL (from lat. "vita" – "a life") "waves" of cultural autoidentification is presented by the author. This algorithm includes the segments in ten years (THE MENTAL SEGMENT) and thirty years (THE VITAL SEGMENT). We investigate Pushkin's model of the reforms, supported harmonious "pulse" of the organic development. (It is shown, that eclectic is a result of individualism, but harmony – a result of collectivistic tradition, which the lyubomudres named as "narodnost").

Key words: Pushkin's reform of publicity; model of the polemic discourse; epic realism; algorithm of harmonie.

Встав во главе просвещенных реформ русской печати в 1820-х-1830-х годов, А.С. Пушкин не стремился пропагандировать какую-то новую,

дотолу неизвестную эстетику. Назвав эстетические направления «литературным сектантством», он в «Письме к издателю «Московского вестника» (1828) подчеркнул: «...Все... секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и

© Третьякова Е.Ю., 2009

невыгодную сторону» [6, 54]. О задачах реформы Пушкин высказался так: «Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком; несмотря на грамматические оковы» [6, 54].

Гениальный поэт способствовал тому, чтобы публикуемая речь — письменная традиция (литература в широком смысле этого слова, от лат. «littera» — «буква») не замедляла «ход словесности», не искажала естество этнических языков, диктуя искусственно возникшие нормы. Он распространил на практику текущей печати модель, поставившую на фундаментальные диахронические основы и синхронную передачу языкового опыта. Этими основами являются эпическая природа языка в мифе и гармоничное взаимное дополнение книжных / некнижных компонентов культурного процесса. При выполнении двух названных параметров журналисты, участвующие в полемике по эстетическим, критико-литературным, нравственно-этическим и иным волнующим общество вопросам, могут не наносить ущерба размеренному многовековому ритму жизни языка.

В нашей статье пойдет речь о модели, которую теория журналистики не изучала, хотя эта модель существует и сегодня важна в не меньшей мере, чем была в эпоху Карамзина и Пушкина. Эта модель не подчиняется комплексам идей, а возвращает абстрагированные и образные представления на платформу *эпической объективности*. Она актуальна: ныне крайне важно высвободить познание из рамок, в которое его ставили позитивистские дискурсы, как софистика древних, подменявшие объективность вульгарным объективизмом. Безразличное к органическим законам культурного развития вербальное оформление мысли распространилось из письменной речи в устную, исказило общественную практику читающих / пишущих. «Век модернизма» оказался культурно-языковым провалом: рваные края трещины разверзлись, прервав естественную передачу живого культурного достояния на целое столетие. Обнажилась пропасть, из-за которой наследники лишены привольного владения богатствами родного языка. В моменты острых кризисов мы ругаем массовую культуру, деградировавшую систему образования, до изнеможения спорим, кто в этом всем виноват... Но удалившееся не становится ближе, поскольку не вводится в действие карамзинско-пушкинская модель.

Ни скепсис относительно «западного» моделирования культуры, ни мартирологи утрат, ни навязчивая мысль о «крахе идей Просвещения» — только изучение и внедрение этой продуктив-

ной модели изменит ситуацию к лучшему. Тогда разрыв перестанет углубляться: будут устранены препятствия, заграждающие дорогу к открытиям *русского Просвещения*.

Надо расценивать достижения золотого века не как факт исключительно истории русского литературного языка (взлет его классического развития) или истории искусства (расцвет мифа национальной культуры), а осознать ее как факт преобразования журналистики. Этот социальный институт сделался заметным и важным именно тогда, когда претендовал стать двигателем Просвещения: обеспечить «быстрый размен мнениями» (слова Н.В. Гоголя), приобщить обычных читателей к важнейшим достижениям культурного развития. Теория журналистики должна получить системный подход к эпическому, гармоничному моделированию информационного пространства, оценить принципы, выработанные и применявшиеся выдающимися преобразователями. Аргументы в пользу таких просвещенных реформаторов, как Карамзин, Пушкин и их единомышленники, надо учитывать не разрозненно, нестройно. Нужно обобщить алгоритм, посредством которого синхронный срез (периодика) гармонично вписывается в диахроническое развитие живых языков.

Чтобы способствовать устранению недоработок, мы исследовали различные аспекты деятельности Пушкина-журналиста, в частности, пушкинское отношение к полемикам.

Полемике — развернутое отображение моментов диалектики человеческого существования. Но диалектика диалектике рознь. Мышление риторическое дробит поток информации на индивидуализированные участки, приучая считать *противоречие* — «речью, направленной против речи» [9, 106]. Эпическое мышление обладает иной диалектикой — возводящей культурно-информационный процесс к объективной неиндивидуалистической основе. Это заметно при внимательном изучении пушкинского пути в журналистике.

ИСТОК И ПРОТОТИП ПУШКИНСКОГО ПУТИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Рассказ о том, как позиционировал себя А.С. Пушкин в полемике периодики своего времени, справедливо начать упоминанием о Николае Михайловиче Карамзине. Весной 1826 года великий историк умер; на смену ему прочили (еще опального тогда) Александра Пушкина; спустя несколько лет должность придворного историографа, действительно, была поручена ему. Он, как и Карамзин, считал, что журналист должен стать летописцем событий. В известной пушкинской характеристике Карамзина («...Первый наш

историк и последний летописец») подчеркнута гармоничная преемственность между сознанием современного историка и процессом, идущим издревле [6, 94].

Надо сказать, что Пушкин, на самом деле, подчинил текущий обмен мнениями «формуле» смиренно-личностного подхода. В его отзыве на «Историю русского народа» Н.А. Полевого сказано, что для верного отображения отечественной истории требуется «иная мысль», «иная формула» (не та, которую находим у Тьера, Гизо и подобных им историков). Поэт начал перерабатывать и печатную полемику о текущих событиях иначе, чем это делали русские эпигоны европейской журналистики. Благодаря внедренной им «формуле» крепло, стало расти вширь обобщение смысла событий не *вторичное* (политико-идеологическое или системно-теоретическое научное), а *первичное* (собственно языковое, эпически возделывающее природу мысли). У мифа русской национальной культуры обозначился эпицентр, похожий на устье песочных часов. И через это устье протянулся стержень понимания, беспрепятственно достигающий самых дальних исторических рубежей – всего, что веками осваивала отечественная книжная и устная поэтическая культура слова. Стена, которой отгородили себя от Средневековья «властители умов» Нового времени, распалась, воротилась возможность уравновесить сознание современников с сокровищами православного миропонимания, накопившимися за тысячу лет.

Пушкинским началом золотого века эпицентр гармонии назван не во времена поэта. Так стали говорить потомки о десятилетии 1826-1836 гг., когда Пушкин возглавлял отечественный книжно-журнальный процесс. Теория СМИ и СМК не интересовалась тем, почему журналистская деятельность поэта создала феномен, который и далее во всех преемственных с ним явлениях поддерживал органическую жизнь мифа. У теории журналистики отсутствует адекватная методология. Эволюцию представлений Пушкина о журнальной полемике мог бы раскрыть только инструментарий непозитивистского знания. Мы учитываем, что смиренно-личностная модель книжного / некнижного культурно-языкового опыта, которую поддержали Карамзин и Пушкин (в противоположность «европейской» модели ее называют «русской»), идет от православной книжности Средневековья. *Под моделью мы понимаем алгоритм коммуникативно-речевой практики, организующий эпическое понимание жизни и служащий проводником такого понимания.*

«Европейская» модель, возникнув вместе с индивидуализмом, начала распространять присущие ему способы общения и восприятия мира. Полемисты Нового времени как бы забыли о том,

что у маятника споров должна быть неподвижная верхняя точка (точка прикрепления), и учитывали только колебания нижней (подвижной) его части. Носители книжной образованности в большинстве своем перестали эпически корректировать речемыслительный процесс и пытались риторически «дирижировать» пониманием. Развивая пояснительную аналогию с маятником, можно сказать: но алгоритм модели может и не совпадать со снованием мысли из реплики в реплику; «русская» (пушкинская) модель достраивает понимание до объемной структуры, в которой не упущена из виду точка крепления маятника. В составе этой модели риторический обмен речами, идеями интегрирован в эпическое единство. Подоснова такого единства – матрица архаического родового мифа, в незапамятные времена стихийно совпавшая с жизнью органически развитого языка (Древо Речи = Древо Жизни).

И поскольку литературный язык – это не язык художественной литературы, а язык общения образованных людей, то «русский» тип образованности, в силу опоры на развитое чутье, не порывает родства с архаическим мифом и типом просвещенности, сформированным в средневековой книжной традиции православных народов. Вот почему гармоничный литературный язык под пером его классических мастеров верен единым принципам тысячелетней передачи мудрости. Благодаря гармонии, пределы познания ширятся до вековых и упрочивается традиция неиндивидуалистическая: иначе не может быть, ибо в сфере органически развитого культурно-языкового опыта главенствует эпическое начало. Можно назвать его «скрытым историзмом». В пушкинскую эпоху такой тип историзма (присущий средневековым летописцам Руси) позволил в собственно-русской книжной традиции дать реалистический синтез идей классицизма, сентиментализма, романтизма: крепкая ретроспективно-проективная опора удержала в равновесии самые пространственные ветви истории народа.

Картина действия *пушкинской модели* вырисовалась лишь по прошествии двух поколений, следовавших за Н.М. Карамзиным-историком. И из давшего росток желудю не за год вырастает могучий дуб. Этот вклад в домостроительство отечественной культуры сформировали соратники поэта по «аристократическому направлению», старшие славянофилы (ученики Пушкина, которые были выходцами из кружка любомудров), основатели «русской школы» в искусстве и гуманитарном знании.

Дружные ветви этого культурно-языкового феномена стали называть *золотым веком* русской словесности только тогда, когда в момент расцвета истинные возможности матрицы (струк-

турной подосновы) органичного развития мифа развернуто показали себя. А «почкой» будущего цветения был «Арзамас»: его участники уловили прототип, исток, направление, в котором следует вести пересмотр идей классицизма и романтизма. Воспитанник «Арзамасского братства безвестных людей», Пушкин в зрелые годы применил на практике урок, взятый у людей, которые, вопреки немалой разнице в годах, стали его близкими друзьями. Лучшим прологом для обзора этапов, пройденных Пушкиным-журналистом, будет рассказ о том, как сложилось осознание полемических задач периодики в кружке «Арзамас».

Обратимся к протоколам этого дружеского литературного общества.

«АРЗАМАССКИЙ» ПОДХОД К ВОПРОСУ О ПОЛЕМИКАХ

Хотя позиция участников «Арзамаса» была сентименталистской, она не совпадала с эстетикой сентиментализма западноевропейского. Знатоки русской и украинской культуры первой трети XIX века (Чижевский и др.) отмечают, что арзамасский подход к «истинному вкусу и сердечному воображению» был аналогичен «философии сердца» Г.С. Сковороды. Тезис Жуковского: «Нельзя ли в мертвое живое передать? / Кто смог Создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ль выраженью?» [5, 84] относится к апофатической передаче Божественного. Сокровенный смысл общности человеческого с Божественным заключен не в материализованных штрихах («Едва-едва одну ее черту / С усилием схватить удастся выраженью»), а в том, чем незримо дышат проявления гармонии.

Просвещенность должна иметь свое прямое выражение как *гармония слога и тонкое чутье к органично развитой живой речи* — такое требование в основу классически совершенного русского литературного языка заложили карамзинисты. В поиске гармоничного слога: «Пиши, как говоришь, и говори, как пишешь» — они шли за Карамзиным. Не отрицая идеи А.С. Шишкова, арзамасцы чуждались «духа шишковизма» — мертвой риторики, заполонившей «Беседу любителей русского слова», ученые собрания Академии Российской, Императорской Публичной Библиотеки.

Протоколы «Арзамаса» показывают, что к 18-му заседанию общества сформировалась уверенность в том, что обществу нужно издавать свой журнал. Кассандра (Д. Н. Блудов) записал «сонную речь» Эоловой Арфы (А.И. Тургенева) и предложения, поступившие от новых членов. Рейн (М.Ф. Орлов) и Варвик (Н.И. Тургенев) твердо заявляли о необходимости иметь печатную платформу для полемических сражений. Как это

изменит ситуацию внутри общества, обсуждалось вплоть до 20-го заседания. Было решено, что перед «Арзамасом» открывается новое будущее. Сотрудничество перерастет в «образ занятий, общий для всех, но разнovidный, как вкусы, труды, таланты каждого» [1, 222].

Что имел в виду Александр Тургенев, провозглашая девизом «Арзамаса и журнала его» *единство и разнообразие?* «...Все арзамасцы горят любовью к добру и к изящному» (основа единства) и стремятся к разнообразию «в предметах и красках». Оратор призывал «Арзамас» служить цели обширной и возвышенной: «Да будет он грозою гордого невежества, благодетелем скромного незнания; да будет посредником между Европой и Россией, то повествуя о новых успехах гражданственности, о творениях и открытиях искусства и ума, то представляя в верных, ясных картинах состояние нашей славной отчизны в отношении физическом и нравственном, то очищая, определяя вкус и язык советом, рассмотрением, примером. Мужайтесь, сыны Арзамаса! Докажите злоречивому свету, что не все журналисты поденщики, что можно трудиться для пользы и чести, а не для корысти...» [1, 222-223].

Асмодей (П.А. Вяземский) подшил к «Протоколам» свою статью с пояснениями: «Какое средство имеем достижению благородной мечты?». Главным средством он считал влияние на публику. «...Как похитить это влияние? Изданием журнала. Всякая другая дорога была бы отдаленнее. Временные сочинения скоро захватывают вниманием и имеют более число читателей. Сначала подстрекают они одно любопытство; сначала от праздности слушают журналиста; со временем его слушаются. Все орудия в его руках, он учит, забавляет, проповедует, смеется и смешит, укоряет и приговором своим оправдывает и казнит» [1, 240]. Эта рукопись, как и другая («Мой сон о русском журнале»), является программной декларацией и указанием на мотивы, заставившие «Арзамас» активизировать свое участие в публичных полемиках.

Вяземский дал преамбулу: «польза журналов у нас очевидна», но «журналов у нас большой недостаток. Во всех других просвещенных землях их гораздо более» [1, 240]. Из иронично оцениваемой (они «предприняли издание журналов, не имея никакой твердой цели, разве кроме той, чтобы наложить на читателей крест терпения») общей массы отечественных журналистов в историческом экскурсе он особо выделил Н.И. Новикова и Н.М. Карамзина. Первый назван «бичом предрассудков, бичом немного жестким и отзывающимся грубостью тогдашнего времени». Об успехах второго говорится: «Московский жур-

нал» разрушил «готические башни обветшалой литературы и на ее развалинах положил начало» новому европейскому типу изданий, ожидающему для окончательного усовершенствования «искусных трудолюбивых рук» [1, 240].

Вяземский предлагал выпускать журнал «в неделю по одному разу». Соображения о частоте номеров были снабжены такой оговоркой: «Дело идет не о перепалке: надобно со всех батарей дуть изо всех снарядов. Наша публика забывчивая и сонная: проспавши целый месяц, едва услышит она нас впробор»». Выручку от журнала предполагалось «обратить на благотворение обиженных детей Аполлона»: «печатать на своем иждивении хорошие переводы или хорошие сочинения и таким образом вырвать из когтей жадных книгопродавцев бедные жертвы, продающие и унижающие свои дарования» [1, 241].

Для внутренней структуры номеров предусматривалось «три разряда» (раздела): *Нравы*, *Словесность* и *Политика*. В разделе *Нравы* надо «объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям» (что, по мнению Вяземского, «есть уже действительная дань, приносимая добру»). В разделе *Словесность* «вести <...> войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но вместе с тем отучая публику от дурных примеров». «Соединить в руке силу разрушающую и созидательную» Вяземский считает возможным только тогда, когда произведения художественные дополнены критикой, публицистикой. Он требует «выезжать не на одном Пегасе, в стихах позволять себе переводы, в прозе никак. Иметь во всякой книжке статью Критики новейших или старых писателей. Сюда принадлежит и статья о художествах отечества: отчет всех новых произведений, изобретений и проч. Эта статья не обидит нас бумагой. Если Провидение умилюстится над нами и услышит моление здравого смысла, то посвятим несколько страниц и театру: не налагать на себя обязанность вести дневник спектаклей, но говорить о новых пьесах и о успехах хороших актеров» [1, 241-242]. О том, каким должен быть раздел *Политика*, сказано: «Из известных журналов французской Меркурий более всех может служить нам примером». «В политике довольствоваться простодушным изложением полезных мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели: силы и благоденствия народов<...> и таким образом сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч солнца, сияющего на горизонте просвещения света и озарить мрак зимней ночи, обложивший нашу вселенную» [1, 241].

Кроме «Арзамасских протоколов» сведения о замысле реформ, который вынашивали участники дружеского литературного общества, есть в их мемуарном и эпистолярном наследии. Нам приходилось сравнивать проекты организации круга просвещенных изданий в России, родившиеся у арзамасцев и у Любомудров [8]. В рамках настоящей статьи мы сделаем акцент на том, как относился к этим проектам Пушкин и что постепенно менялось в его оценке задач печатной полемики. Три примера, демонстрирующие постепенное восхождение Пушкина к зрело-уравновешенному эпическому взгляду на данный предмет, будут рассмотрены в трех дальнейших разделах.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: УЧЕБА В «АРЗАМАСЕ»

Сожаления о невозможности присутствовать на заседаниях «Арзамаса» в лицейской корреспонденции юного стихотворца приправлены крупными юмором. В самом раннем из дошедших до наших дней писем Пушкина (27 марта 1816 г. П.А. Вяземскому из Царского Села) говорится: «Молодого человека держат взаперти», «не позволяют ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей русского слова» [6, IX, 10]. Слово «губители», в шутку употребленное вместо «любители», косвенно подтверждает наше предположение о том, что «погребать покойную Академию и Беседу» означало писать и читать истинно живые произведения слова.

Проект «Revue des *bivvues*» («Обозрения промахов»), изложенный в письме из Кишинева к С.Л. Пушкину (1-10 января 1823 г.), тоже более шутка, чем серьезный замысел. Александр Сергеевич спрашивает брата: «Душа моя, как перевести по-русски *bivvues*? — должно бы издавать у нас журнал “Revue des *bivvues*”. Мы поместили бы там выписки из критик Воейкова, полуденную денницу Рылеева, его же герб российский на вратах византийских (во время Олега гербов русского не было, а двуглавый орел есть герб византийский и значит разделение Империи на Западную и Восточную — у нас же он ничего не значит). Поверишь ли, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десятков этих *bivvues*, поговори об этом с нашими...» [6, IX, 54]. Но в основе претензий к названным журналистам лежат вполне серьезные мысли. Будучи в ссылке, Пушкин основательно интересовался полемикой печатных изданий, старался регулярно их получать. Чуть ли не в каждом письме к родственникам и друзьям — просьбы о присылке свежих номеров соседствуют с отнюдь не фрагментарными замечаниями о журнальном процессе. Это вдумчивый, глубокий анализ.

«Когда-то мы возьмемся за журнал! Мочи нет хочется...» — торопил Александр Сергеевич друзей приняться, наконец, за собственное издание. Ему претила мысль о том, чтобы печатный орган зависел от меценатов вроде одесского губернатора графа Воронцов: «Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима. Мы одни должны взяться за дело и соединиться». Пушкин трезво оценивал соотношение собственно-творческого вклада («материалы есть, материалисты есть») с техническим трудом: не упускал из виду такие слагаемые успеха, как настойчивость, кропотливость, усидчивость («где тот свинцовый зад, который будет толкать все это?»): «Но беда! Мы все лентяй на лентяе — материалы есть, материалисты есть, но *où est le cul de plomb qui poussera* за? Где найдем своего составителя, так сказать, своего Каченовского?» [6, IX, 95].

В ближайшей перспективе преобразований Пушкин рассчитывал на две возможности: во-первых, избежать *кулачных и палочных боев*, во-вторых, поставить заслон безнаказанному шарлатанству и обману публики. Поэт был против дурной привычки вести себя *на арене журналистики*, как на затоптанном грязью полу дешевого балагана. Договоренность на этот счет между Пушкиным и Вяземским определилась в 1821 г. Судя по их переписке, Пушкин первый отчеркнул границу, за которую просвещенному человеку переходить не должно. К четкому, строму определению границ дозволенного / непозволительного его подтолкнула одиозная позиция Михаила Трофимовича Каченовского.

Участники дружеского литературного общества «Арзамас» и ранее чувствовали нежелательность прений с такими «литературными староверами». К 1818 году они перестали печататься в «Вестнике Европы». Полемическая тактика вот-вот должна была перерасти в стратегию: готовящееся издание собственного журнала и дало возможность игнорировать «журнал совсем не европейский, в котором чахнет старый журналист». Для разрыва с «Вестником Европы» были весомые причины. «Клеветник без дарованья» не принимал ничего оригинального и нового, решительно не мог смириться ни с чем сколько-нибудь талантливым и живым. Каченовский бранил «Историю государства Российского» с не меньшим упорством, чем Зоил — Гомера. С 1815 года он наотрез отказывался печатать стихи Пушкина (молодой поэт, в конце концов, не стал ему ничего посылать). «Вестник Европы» поместил на своих страницах рецензию А.Г. Плаголева на поэму «Руслан и Людмила». Поначалу эту крайне неприязненную к новым веяниям статью тоже приписали «Хаврониосу» Каченовскому.

Затеваемое «Арзамасом» издание планировалось не затем, чтобы бряцать оружием так же, как Каченовский, а чтобы изменить качество полемики: наполнить собеседования о литературе не взаимными упреками, а живой струей мысли и чувств. Это заметно по тому, какая главная проблема обсуждалась в переписке Пушкина и Вяземского 1821 г.

В одном из сатирических посланий Петр Андреевич писал: «пасквилай томительная скука» вот-вот окончательно скует — «заморозит» отечественную словесность «Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок...» — прочла публика в «Сыне отечества» (1821, ч. 67). Издатель «Вестника Европы» перепечатал это «Послание к М.Т. Каченовскому» и, вместо взвешенного обсуждения высказанных в свой адрес замечаний, дал ответ — «Послание к Птелинскому-Ульминскому», где осыпал Вяземского ругательствами и упреками, полными бессильной злобы. О такой взаимной пикировке можно было сказать: «Мы бранивались с ним как торговки на вшивом рынке» (так впоследствии Пушкин сказал о Каченовском своей жене Наталье Николаевне). Обмен «Посланиями» возымел отрицательный, а не положительный эффект. Но отрицательный опыт не научает лишь глупца. «Оратор Лужников, никем не замечаем, / Мне мало досаждал своим безвредным лаем» — отпарировал А.С. Пушкин («Чедаеву», 1821) в благодарность за «услуги», которые оказывает «Вестник Европы» ему и всем иным ярким талантам русской литературы.

Вяземскому же по поводу данного эпизода полемики написал: «...Мнения «Вестника Европы» не можно почитать за мнения» [6, IX, 44]. Посоветовал другу: будь разборчивей при выборе противников в прениях! Не допускай пустого препирательства — с кем бы то ни было! Передавая Вяземскому через Попандопуло и Липранди свои новые стихи, Александр Сергеевич (письмо, датированное 2 января 1822 г.) еще более подробно пояснил свою позицию: «Благодарю тебя за все твои сатирические, пророческие и вдохновенные творения, они прелестны — благодарю за все вообще — бранюсь с тобою за одно послание к Каченовскому; как мог ты сойти в арену вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты сбил его с ног, но он облил твой венчик кровью, желчью и сивухой... Как с ним связываться — довольно было с него легкого хлыста, а не сатирической твоей палицы. Ежели я его задел в послании к «Чедаеву», — то это не из ненависти к нему, но чтобы поставить с ним на одном ряду Американца Толстого, которого презирать мудренее». В этом письме с грустью подмечено: «В долгой разлуке нашей одни дурацкие журналы изредка сближали нас друг с другом» [6, IX, 34].

Как видим, при мысли о ситуации, в которой духовно близкие и нужные друг другу люди раскиданы на дальние расстояния, перед глазами Пушкина вставала довольно грустная картина: авторы мастерски написанных эпиграмм вынуждены выступать не где-либо, а на арене «дурацких журналов»! Как странно выглядит увенчанный лаврами афинянин-победитель олимпийских игр в пьяной толчее кулачных бойцов масленичного балагана! Горькое замечание «как мог ты сойти в арену» (слово «арена» в письме подчеркнуто) оказалось столь же мало уместным в разговоре о грязной драке, как и слово «Олимпиец». Поэт прямо сказал Вяземскому (тоже поэту), что «Американцу» (прозвище Ф.И. Толстого) все-таки, как и Петру Чаадаеву, внятна иерархия «рыцарских» / «нерыцарственных» слов и поступков (чутье к нравственной оценке достойного и недостойного человек носит в себе как совесть). Этим они принципиально не похожи на М.Т. Каченовского: «Клеветник без дарованья, / Палок ищет он чутьем, / И дневного пропитанья / Ежемесячным враньем» [7, 244].

Следующую серию эпиграмм на войну «Вестника Европы» против современной литературы Пушкин дал в «Московском телеграфе» после резкого обострения отношений романтиков с псевдоклассиками, вызванного фельетонами Николая Надоумко (Н.И. Надеждина). Три сатирических стихотворения 1829 г. («Журналами обиженный жестоко», «Там, где древний Кочерговский», «Как сатирой безымянной») стали последним выступлением Пушкина на страницах журнала братьев Полевых. К слову сказать — выступлением, характеризовавшим приемы полемики не только в «Вестнике Европы», но и в самом «Телеграфе».

Так же к слову заметим, что аналогия «журнальные полемики» — «арена цирка» (в античности известного как цирк гладиаторов, но в вульгарных своих формах нисходящего до драк и борцовских схваток на усыпанном опилками полу балагана) и далее была активно задействована в фоне русских представлений о просвещенных реформах. Это, например, заметно по памфлету Б.Н. Алмазова «Сон после представления одной комедии» (Москвитянин, 1851, № 9-10), тоже довольно остро высмеивавшему полемический задор русских «журнальных бойцов». Именно в таком смысле обыграно выражение «арена журналистики» в первой части текста, написанного Алмазовым.

Выводы, сделанные Пушкиным из полемики между Каченовским и участниками «Арзамаса», побудили поэта работать над усилением личной ответственности (совести) журналиста — ответственности за нравственную сторону споров,

а не за ту или иную систему эстетических идей. Так, в раздумьях о допустимом тоне публичного обсуждения литературных и жизненных проблем начал поэт поиски модели, которая способствует «очищению языка» и одновременно — отказу от низменных «нерыцарских» приемов, демонстрирующих мелочность и чрезмерные амбиции журналиста.

ЭТАП ВТОРОЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУССКИМИ РОМАНТИКАМИ

Как Пушкин воспринял идейно-теоретическую позицию молодого поколения московских журнальных литераторов-любомудров, показывает его переписка 1824-1825 гг. Напомним, что две первые большие статьи о русской и зарубежной журналистике: «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова» и «О г-же де Сталь и о г. М-ве» помещены в журнале, который с 1825 г. под патронажем князя Вяземского стал издавать Николай Алексеевич Полевой. Довольно быстро обнаружив слабость позиции «Телеграфа», поэт резко сократил свое участие в нем и осенью 1826 г. благословил новое издание романтиков — «Московский вестник».

Он всячески склонял любомудров к тому, чтобы они учились передавать идеи не в метафизических статьях (см. пушкинское понимание слова «метафизический» в 10-м номере «Литературной газеты», в письме к Дельвигу 2 марта 1827 г.), а в повестях. Пушкин считал теоретические выкладки не панацеей, а служебной, вспомогательной частью реформаторского процесса; однако достаточно внимательно, вдумчиво читал философские суждения о мифотворчестве и языке народов, о том, что делает возможным «вхождение поэзии в действительность». До 1828 года поэту казалось, что любомудры не высоко ценят природные достоинства нерелефлирующего ума («Архивны юноши толпою / На Таню чопорно глядят / И про нее между собою / Неблагоклонно говорят»). Он говорил: «...За одну статью Вяземского в «Телеграфе» отдам три дельные статьи “Московского вестника”» [6, X, 183]. В его стихотворном романе «Евгений Онегин» есть юмористический ход, представляющий журнальную публицистику *скучной теткой*, а Татьяну — *доброй племянницей* (одной из племени молодых читателей). Пушкин как бы намекнул новым московским критикам: не будьте равнодушны к такой читательнице! Найдите с ней общий язык, и тогда к ней станут внимательными другие завсегдатаи журнального света: «У скучной тетки Таню встретя, / К ней как-то Вяземский подсел / И душу ей занять успел, / И, близ нее его заметя, / Об ней, поправляя свой парик, / Осведомляется старик» [6, IV, 137].

Видя, что у любомудров появились лидеры, пишущие очень дельно (сначала Дмитрий Владимирович Веневитинов, потом Иван Васильевич Киреевский), Пушкин (рецензия на «Денницу») в высшей мере сочувственно принял все высказывания последнего, за исключением одного — о том, что немецкая философия придаст «новое изящество» русскому слогу. Кто окажется прав: Иван Киреевский, ожидавший от русских журналов обновления, или Николай Полевой, скептически заявлявший, что никаких перемен не будет, тогда решалось не на словах, а на деле.

«От жизни остаются на земле гроб и дела; от журналов пыль и книжки». Пушкин, несомненно, заметил эти слова Н.А. Полевого в статье «Новости и перемены в журналистике на 1929 год». Полевой заявил, что изменить «жребий, тяготеющий над журналами» нельзя: никто не «переселит старую душу» в новую форму. «Горестный наблюдатель, печально рассматривая книжки навеки умолкнувших журналов, <...> ждет новых сподвижников и с удивлением видит, как слова Мирабо сбываются над русскими журналами <...> Может быть, подслушивая журнальные счеты, испытательный демон любопытства открыл бы некоторые тайны, может быть <...> Мы, скромные летописатели журналистики, ничего не предполагаем, а сообщаем <...> факты новых событий. Никто не поручится и за то, что переселение старой души в новую форму пособит тяжкому жребию, тяготеющему над иными журналами: все это решит время. Мы живем только в прошедшем; будущее неизвестно, настоящее — призрак: оно не существует; за одно мгновение оно было будущим, через одно мгновение делается прошедшим» [4, 56]. Так выражена позиция вполне типичная, характерная для вульгарно-романтической журналистики (тогда представленной «Московским телеграфом», «Северной пчелой», «Сыном отечества» и рядом других изданий).

Не все деятели русской периодики 1820-х гг. считали невозможным реалистически выверить отношения между словом и делом на *журнальной арене*. В 1826 г. Дмитрий Веневитинов посвятил выверке статью (увидевшую свет после смерти автора под заглавием «Несколько мыслей в план журнала»). Он считал необходимым иметь периодическое издание для специальной публикации теоретических трудов (системное обоснование просвещенных реформ предполагалось давать в первой части нового издания, а во второй части помещать стихи и прозу).

Пушкин оценил и на деле поддержал поиск форм книжно-журнального общения, при которых и настоящее не призрак, и будущее не тонет в тумане неизвестности.

ЭТАП ТРЕТИЙ, СОБСТВЕННО ПУШКИНСКИЙ

В отличие от Веневитинова, Пушкин, не давая иного, чем дали любомудры, теоретического обоснования просвещенной модели печати, реализовал эту модель: на деле выверил динамику синхронной / диахронической гармонии органично развитого культурно-языкового потока и выявил, что устойчивая жизненно-нравственная традиция народа — в природе вещей (см. эпиграф IV главы «Евгения Онегина», в которой происходит первое объяснение между Татьяной и Онегиным.)

Без такой модели на *театре журналистики* все становится, как на *театре военных действий*.

Пушкин бывал на Кавказе, участвовал в военном взятии крепости. Арзрум не поколебал того, чему научил поэта «Арзамас». У него есть строки, с полным правом применимые к журналистике, когда в ней главенствует погоня за бранной славой: «Но боюсь, среди сражений / Ты утратишь навсегда / Плавность робкую движений / Прелесть неги и стыда» [6, III, 222]. Ко времени написания этих строк от «Арзамасского братства безвестных людей» и от «Общества любомудрия» остались лишь воспоминания. Но полученные уроки дружества и сердечности помогли соединить постулат любомудров о «вхождении поэзии в действительность» с сентименталистской «философией сердца».

Отношение к прекрасному как благому «сердцу мира» в персональном мифе Пушкина не является метафорическим. И потому прямо, непосредственно передает *пульс* эпического жизнеощущения литературному языку. Универсум книжных / некнижных отзвуков «сердечного ритма» жизни народа — все частности соответствующей модели — Пушкин экспериментально проверил в Болдине, наедине самим с собой (точнее — с проблемами семейных утрат и обретений, с холерой, которая «вот-вот забежит и перекусает всех», и с «чумой книгопечатания», которая губительна для будущего культуры). Трагические обстоятельства были, заметим, не бутофорскими, а реальными. Вокруг Болдина и в Москве бушевала смертельная эпидемия. Нападки ревнивых соперников «Литературной газеты» грозили не меньшей бедой. «Зачумленные» нездоровым задором страницы множились в количестве, гораздо превосходившем листаж изданий пушкинского круга. В «разъяренном океане, / Средь бурных волн и мрачной тьмы» отступить было некуда.

С холерой сжиться нельзя: приходится воевать до последнего. Трагическая цена каждого дня в Болдинском уединении сделала сражение Пушкина за *истинный романтизм* (так он называл

эпический реализм) более драматичным, чем это виделось во время путешествий по местам Кавказских сражений. «Приехал я в деревню, отдыхаю. Около меня колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? — того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию, — сообщал он 9 сентября Петру Александровичу Плетневу. — Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытии, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчал: *как скучны статьи Катенина!* и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином на щите» [6, X, 240. — Выделено Пушкиным. — Е.Т.]. Записанные Пушкиным предсмертные слова Василя Львовича подчеркнули: так умирает истинный арзамасец!

Почему даже перед лицом смерти у Александра Сергеевича не возникало чувство безысходности? Потому, что *как выход* он сотворил героическую арену — достойный ответ любому фальшиво обставленному бутафорскому театру. В творческой лаборатории самых напряженных месяцев своей жизни Пушкин сделал книжно-журнальную действительность достоянием *амфитеатра*. Тому, как это складывалось, мы посвятим отдельную статью. Здесь только упомянем о том, что если *актер, хор и амфитеатр* думают в унисон, — то не риторически, а реально воссоединяются многие вещи, которые актер создать не может. (Продуктивный синтез слова и дела достигается в силу языковой и жизненной общности людей.) Уже в романе «Евгений Онегин», в первых своих больших статьях — в защиту Ивана Андреевича Крылова и Жермены де Сталь — поэт умел достичь объективного синтеза голосов многих «оппонентов» (ими были пишущие соотечественники и зарубежные авторы).

Готовясь в 1831 году к изданию газеты «Дневник» (мысль о ней была окончательно отложена осенью 1835-го, когда поэт получил разрешение на «Современник»), Александр Сергеевич набросал план программной статьи. Первым в плане стоит вопрос: «Что есть журнал европейский? Что есть журнал русский?» [6, VII, 381]. Написать статью он мог поручить Вяземскому: вопрос всесторонне обдуман Петром Андреевичем (мы упоминали о его более ранних рукописях по данной проблеме). Через десятилетие после смерти гениального поэта Вяземский подчеркнул: «Как ни были разнообразны между собою дарования обоих, но Пушкин едва ли не более всех других писателей наших родственно примыкает к Карамзину и является прямым и законным наследником его. Как тот, так и другой были наиболее влиятельными и господствующими писателями своих эпох. В них сосредото-

чивались литературная сила и власть. А что ни говори, и в республике писмен (*гйрpublique des lettres*) нужна глава, нужен президент. У многих нянек дитя без глазу, здесь, пожалуй, без языка. Избранный писатель, увлекаемая деятельностью и производительностью своею, вместе с тем нечувствительно и неосознанно налагает пример свой на других» [3, 320].

Вяземский обратил внимание на то, что участие Пушкина в судьбах отечественной журналистики придавало оптимальный характер ходу литературного процесса. При Пушкине был «общий богатый итог», которого русская печать, к сожалению, лишилась в следующем десятилетии. В 1840-е гг. западники и славянофилы при пикировке с противниками не избежали «самозванства». Какой вред это наносит, Вяземский объяснил на примере вмешательства идеологии в историографию. Приведем это очень удачное, на наш взгляд, разъяснение: «Ныне пользуются событиями, чтобы изнасиловать их: так поступают особенно французские новейшие историки. Эта школа закладывается и у нас <...> Иные хотят, чтобы чрез всю историю протянута была одна мысль, слышен был один лозунг, на который откликались все события. И точно есть историки, которые сбиваются на водевильных певцов. Все клонится и натягивается на один известный припев. Они начинают с того, что приберут окончательный стих, а там уже направляют мысли и выражения к заданному себе напеву» [3, 317]. Как видим, формулировка не научная, но исчерпывающе полная.

Мы говорили, что Пушкин ставил поэтическое слово выше любых умствований. Теперь добавим мнение о научном труде, включенное Александром Сергеевичем в статью «Словарь о святых...» (1836). «В наше время главный недостаток, отзывающийся почти во всех ученых произведениях, ест отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из этого происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноровлением модных понятий к старым, давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые, в некотором смысле, можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых и печалат людей истинно ученых и здравомыслящих» [6, VII, 324. — Выделено Пушкиным. — Е.Т.]. Из отрывка видно: Пушкин не делает различия между скороспелыми сочинениями, где бы они ни печатались, — в книгах или на страницах периодики.

Возвращаясь к оценке журнальных полемик 1830-х и 1840-х гг., данной Вяземским, надо выделить его мысль, итожащую сопоставление пушкинского / послепушкинского десятилетий: «Разумеется, есть и теперь дарования блестящие, добросовестные, но нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечей и поборником водворения законной власти. Силы раздробленные, второстепенные не могут заменить силу полную и сосредоточенную. Нет направления, нет стройного законного развития. Направление к расстройству и беспорядку мы не можем назвать направлением: это разве уклонение. Владычество противозаконное не есть владычество, а насилие. Куда ни посмотри, все более или менее значительные дробы. Нигде нет самостоятельных числительных сил, клонящихся к одному общему богатому итогу» [3, 313].

Вторичная (опосредованной идеологией) переработка языкового опыта и борьба индивидуализмов постепенно превращали русскую периодику в аналог журналистики европейской. Но *амфитеатр*, выросший и воспитанный на чтении Пушкина, был способен отличить «лелеющую душу гуманность» (слова В.Г. Белинского о пафосе пушкинских произведений) от «более или менее удачных изворотов» в порицании предшественников. (Мы цитировали мнение поэта о таких приемах и о «приноровлении модных понятий к старым, давно известным предметам»). Из *амфитеатра* на *журнальную сцену* вышла когорта писателей, которые продолжили расширяющееся становление пушкинского начала в мифе русской культуры. Те, кто поддержал эпическую переработку книжного / некнижного культурного опыта, поднялись над толпой заурядных рекрутов «гоголевского направления».

Эпическая переработка не стирает живые голоса. Тут, опять же, бесценен пушкинский пример. В текстах Пушкина друг-читатель, соперник-журналист и все прочие оппоненты-собеседники имеют реальные прототипы и точную адресацию. Прототип может быть не один, адресат тоже, но это живые люди и они рельефно выступают из текста. Обобщая круг известных публике суждений, Пушкин воссоздает стиль мышления их носителей. Понявший это В.Я. Брюсов назвал Пушкина великим мастером экзегезы: «Другие — читают, перечитывают, обдумывают; Пушкин — творил то же самое, воссоздавал вторично, и это был его способ усваивать» [2, VII, 166]. Правильно сказано: творил. Все, что вызвало интерес Пушкина-читателя, не утрачивало *свой голос* в составе речи Пушкина-писателя. «Прежний» смысл не стирался, но через любую новую грань светилась устойчивая сердцевина истины.

Александр Сергеевич был *универсальным* журналистом не в том значении, на котором настаивает в довольно известной ныне книге американец Дэвид Рендал, а в том, что вытекает из смысла категории «индивидуальная универсалия» у Мигеля де Унамуну. Организуя собеседования, поэт исчерпывающе полно уточнял индивидуальное позиционирование участников диалога и их отношение к центру (ядру, стержню) народной языковой картины мира.

Поскольку результат органичного развития един, карамзинско-пушкинская модель просвещенных преобразований ясно и целиком, а не частично и гадательно видна с любого расстояния лет. От пушкинской эпохи нас отделяет около двухсот лет, но центр равновесия остался, где был и будет всегда, и алгоритм гармоничного сближения с этим центром неизменен. Этот алгоритм освобождает живое от омертвело, мудрое — от глупого, прочное — от ветхого. Созидательный диалог понявших друг друга людей оказывается свободен, открыт для любого числа собеседников. Сингармонизм (этим словом мы называем отношения многогранного равновесия) встраивает в *растущее целое* любые причастные гармонии феномены. Дружественный обмен мыслями и действиями может обрастать дополнениями, как растет кристаллик соли, помещенный в насыщенный раствор.

Начало универсальному синтезу возможностей живой речи положил писавшийся с 1823 г. роман «Евгений Онегин». Структуру этого романного целого тоже организует процедура эпического сравнения — путь, высвобождающий речь из плена неживых, не органичных мифу способов оформления мысли. В 1825 г. вышла в свет его первая глава. Последующие главы тоже выпускались в свет «тетрадами» — наподобие периодического издания (Пушкин ориентировался на байроновский роман в стихах, писавшийся так же — частями: «песнями»). Придумав превратить Онегина и Ленского из друзей в дуэлянтов, Александр Сергеевич несколько опасался, что творец «Дон Жуана» его опередит: Байрону тоже мог прийти в голову аналогичный поворот сюжета. «Пушкин с лихорадочным смущением ждал появления новых песней, чтобы искать в них оправдание или опровержение страха своего. Он говорил, что после Байрона никак не осмелится вывести в бой противников. Наконец, убедившись, что в «Дон Жуане» поединка нет, он зарядил два пистолета и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум приятелям» [3, 287].

Засилье искусственной речи Пушкин называл «впадением литературы в ничтожество», замедляющим «ход словесности» народов. Он понимал, что европейский тип просвещенности, сформир-

рованный выработкой и пропагандой различных идей, не столь уж эффективен. Борьба, которую ведут между собой идеологи буржуазного эгоцентризма, заканчивается крахом просвещенных начинаний. Поэт был разочарован ходом дел во Франции 1830-х гг.: «В ней наука и поэзия — не цели, а средства. Народ (*Der Herr Omnis*) властвует со всей отвратительной властью демократии. В нем все признаки невежества — презрение к чужому, *une morgue pïtulante et transhante* etc.» [6, VII, 273]. В черновике статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833-1834) он писал еще более резко: «Во Франции ее блестящая литература века Людовика XIV была в передней <...> Ныне во Франции нравы уже не те; но сословие писателей потому только не ползает перед министрами, что публика в состоянии дать больше денег. Зато как бесстыдно ползают они перед господствующими модами! Какой ныне талант во Франции не запачкал себя грязью и кровью в угоду толпы, требующей грязи и крови?» [6, VII, 441-442]. И непосредственно о журналах: «19-й век, в сравнении с 18-м, в грязи (я разумею во Франции)» в сентябрьском 1832 г. письме М.П. Погодину. Пушкин признался, что ему трудно молчать — хочется публично, в печати сказать, «что их журналы невежды; что их критики почти не лучше наших Телескопских и <Теле>графских» [6, X, 323].

Поэт не допускал столь резких, несбалансированных суждений в статьях, которые предназначал для публикации. Достаточно сравнить эти замечания из писем с тем, как та же проблематика дана в «Современнике» при оценке деятельности Французской Академии. Падение кумиров французской публики не перечеркнуло пушкинскую уверенность в том, что в русской печати победит согласие *хора*. Поэт знал истинную радость журналистского сотворчества, особенно — на вершинном этапе реформаторской деятельности (мы помним, что в одном из январских номеров «Литературной газеты» он дал рецензию на альманах Максимовича «Денница», где поддерживаются концептуально значимые моменты панорамы журнального процесса, нарисованной Иваном Киреевским).

Критик-любомудр первым нашел способ, объединяющий анализ разнородных полемических позиций. Он обобщил их, сгруппировал вокруг тезиса о том, что пробным камнем для русской периодики 1828—1829 годов стал посмертно изданный последний том «Истории государства Российского». Всем изданиям тогда пришлось выразить свою оценку труда и личности ее автора. Полемика ясно показала: кто из журналистов служит истории Отчества, а кто — своей амбиции, жажде заявить о себе.

Николая Михайловича уже не было в живых, но его участие в судьбах российской словесности (продолжавшее формировать у публики истинно глубокое сочувствие общенациональным созидательным процессам) оставалось действенным: не позволяло перепутать ложь с истинно гражданскими чувствами. Заданное Карамзиным отношение к языку, к родной истории сулило дружный аккорд неиндивидуалистических начал. «Выведенные на чистую воду» дельцы «торговой журналистики» засуетились в предчувствии краха... В этом был момент истины. Буквально на глазах, ни от кого не скрыто, эклектика была вытеснена на периферию книжно-журнальной деятельности, отступила.

Жизнь национальной культуры, совпав со стержнем организованного печатью информационного процесса — развитием естественного языка — двинулась вперед, пошла вширь, расти как органическое целое. Полоса заката стала убывать, как тень перед рассветными лучами.

Подведем итоги разговора о полемиках, который мы начали пушкинской характеристикой Н.И. Карамзина и завершили кратким обзором мыслей И.В. Киреевского о последнем томе «Истории государства Российского».

Пушкин называл эстетики родом сектантства и понимал, что от «впадения в ничтожество» литературу защищают не теоретические выкладки и споры, а «гармоническая точность» языка (выражение из отзыва на поэму Ф.Н. Глинки «Карелия»). Гармоническая точность образных смыслов речи сроднила *пушкинское начало* с откликами на животрепещущие вопросы самых разных эпох и времен. В персональном мифе Пушкина запечатлено теснейшее непосредственное реалистическое слияние слова с делом (В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь в своих воспоминаниях отмечают, что выражение «Слова поэта суть его дела» было у Пушкина одним из самых любимых, оно нередко звучало в его устах).

Живые языки — детища эпоса. Эпическое сознание целиком воспроизводит матрицу родового мифа (подоснову народного бытия) как устойчивую опору прошлого-настоящего-будущего. Этот фактор воспрепятствовал угасанию органично развитой жизни национального мифа, стал в русской журналистике 1825-1836 гг. эффективным противоядием софистике.

Риторика (школа красноречия) в классические периоды своего развития не теряет причастность к эпосу. Но чем проще тиражировать и распространять рукописные труды, тем шире поле для софистики; а зараженная софистикой книжная практика — виновница «заката» культур.

Что же и при «тяжелой артиллерии» печатных станков, средств аудиовизуальной информации, Интернета и прочих технических изобретений остается залогом возврата к рассвету? — Органично развитый язык и гармония, позволяющая созерцать мир в донарративном (предметно-действенном облике) стихий, не заставляя созидание жизни фетишами (будь то позиция отдельного человека, каких-либо социальных групп или даже эпох). Эпос и христианская духовность дали наиболее прочный оплот жизнеспособных возможностей рода (физически сопутствующих друг другу поколений) и народа (поколений, с которыми человек связан единой жизнью культуры и родного языка).

Пушкинская модель гармоничного взаимодействия книжного (рукописное, печатное) наследия и устного народного предания (миф, фольклор) выявила это. И обеспечила возможность просвещенного реформирования журналистики — перехода от вторичной (индивидуалистической, идеологической) переработки материала публичных полемик к переработке первичной (собственно-языковой эпической).

*Третьякова Е.Ю.
Краснодарский государственный университет
культуры.
Доцент кафедры литературы.
e-mail: drevo_rechi@mail.ru*

ЛИТЕРАТУРА

1. Арзамас и арзамасские протоколы / сост. и ред. М.С. Боровиковой-Майковой. — Л. : Academia, 1933. — 303 с.
2. Брюсов Валерий Яковлевич. Собрание сочинений : В 7 т. / В.Я. Брюсов; Под ред. П.Г. Антокольского. — М. : Худож. лит., 1973.
3. Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика / П.А. Вяземский. — М. : Искусство, 1984. — 458 с.
4. Полевой Н.А. Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год // Хрестоматия по ист. рус. журналистики XIX в. / сост. А.В. Западов. — М. : Изд-во МГУ, 1969. — С. 56-66.
5. Поэты пушкинской поры / сост. Н. Л. Степанов. — М. : Худож. лит-ра, 1972. — 574 с.
6. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 10 т. — Л. : Наука, 1977-1979.
7. Русская эпиграмма. — М.: Сов. писатель, 1988. — 784 с.
8. Третьякова Е.Ю. Пушкин и любомудры : две стороны диалога о судьбах русской печати / Е.Ю. Третьякова. — Краснодар : Изд-во КубГУ, 2007. — 60 с.
9. Эпштейн, М.Н. Парадоксы новизны : о литератур. развитии XIX-XX вв. / М.Н. Эпштейн. — М. : Худож. лит-ра, 1988. — 415 с.

*Tretyakova H.Y.
Krasnodar State University of Kultura.
Docent competitor of literature.*